

**ЖАНРЫ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТВОРЧЕСТВЕ**

Жанры речи. 2023. Т. 18, № 2 (38). С. 132–137

*Speech Genres*, 2023, vol. 18, no. 2 (38), pp. 132–137

<https://zhanry-rechi.sgu.ru>

<https://doi.org/10.18500/2311-0740-2023-18-2-38-132-137>, EDN: RFLKOA

Научная статья

УДК 821.161.1.09-31+929Достоевский

**Религиозно-философские диалоги в романе Достоевского «Бесы»****А. А. Гапоненков**

Саратовский национальный исследовательский государственный университет  
имени Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

**Гапоненков Алексей Алексеевич**, доктор филологических наук, профессор кафедры русской  
и зарубежной литературы, [gaпоненkova@sgu.ru](mailto:gaпоненkova@sgu.ru), <https://orcid.org/0000-0003-2177-1835>

**Аннотация.** Как таковой философский диалог – жанр, порожденный античной культурой, стал неотъемлемой частью романов Ф. М. Достоевского. И в них он обрел отчетливо религиозный характер. В этом смысле теория М. М. Бахтина о полифоническом диалоге в романах писателя не позволяет до конца объяснить его (диалога) мистико-религиозное содержание и тем более скрытую авторскую позицию в нём – христианскую оценку («указующий перст, страстно поднятый»). А вопрос о вере в полифоническом диалоге вообще не поставлен. Бахтин ограничивается диалогом «речевых активностей» субъектов, сознаний героев «в области слова», «образом идеи» как «живого события». В статье выделен особый *религиозно-философский диалог* в романе Достоевского на примере «Бесов». Доказывается, что герои подобного диалога философствуют, т. е. выступают не только как обладатели внешних, действительных, психологических характеристик, но и как выразители определенной интеллектуальной активности, сложившейся концепции жизни, которую они обычно претворяют в философиях,мыслеобразах. Религиозно-философский диалог присутствует и тогда, когда он ведется на уровне метафизических глубин, с использованием символа веры, проявлением религиозного чувства, когда решается вопрос об Абсолюте. Глубинный драматизм, обращение к вечным проблемам бытия, предельное расширение художественного пространства затрагиваемых тем, предметов диалога ограничивают сюжетную конкретику, детализированность характеров. Возникает ощущение прямой связи между двумя сознаниями в самых потаенных глубинах человеческого духа: «Тут дьявол с богом борется, а поле битвы – сердца людей» (XIV, 100)<sup>1</sup>.

**Ключевые слова:** диалог, религиозно-философский диалог, жанр романа, Достоевский, «Бесы», вопрос о вере

**Для цитирования:** Гапоненков А. А. Религиозно-философские диалоги в романе Достоевского «Бесы» // *Жанры речи*. 2023. Т. 18, № 2 (38). С. 132–137. <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2023-18-2-38-132-137>, EDN: RFLKOA

Статья опубликована на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0)

Article

**Religious and philosophical dialogues in Dostoevsky's novel Demons****A. A. Gaponenkov**

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

**Alexey A. Gaponenkov**, [gaпоненkova@sgu.ru](mailto:gaпоненkova@sgu.ru), <https://orcid.org/0000-0003-2177-1835>

**Abstract.** Philosophical dialogue as a genre generated by ancient culture has become an integral part of F. M. Dostoevsky's novels. There it acquired a distinctly religious character. In this sense, the theory of M. M. Bakhtin about polyphonic dialogue in Dostoevsky's novels does not allow to fully explain its (dialogue's)

<sup>1</sup>Здесь и далее тексты Достоевского цитируются по изданию с указанием в скобках тома и страницы: [1].

mystical-religious content, and even more so the hidden author's modality – Christian assessment (“pointing finger, passionately raised”). Moreover, the question of faith in the polyphonic dialogue is not raised at all. Bakhtin confines himself to the dialogue of the “speech activities” of the subjects, the characters’ minds “in the realm of the word”, “the image of the idea” as a “living event”. The article highlights a special religious and philosophical dialogue in Dostoevsky’s novel on the example of *Demons*. It is proved that the characters of such a dialogue philosophize, i.e. act not only as those with external, effective, psychological characteristics, but as spokesmen for a certain intellectual activity, an established concept of life, which they usually translate into philosophemes, mental images. Religious-philosophical dialogue is also present when conducted at the level of metaphysical depths, with a creed, a manifestation of religious feeling, when the question of the Absolute is being resolved. Deep drama, appeal to the eternal problems of existence, the ultimate expansion of the artistic space of the topics, the subjects of dialogue limit the plot peculiarities and the characters’ details. There is a feeling of a direct connection between the two minds in the darkest corners of the man’s spirit: “Here the devil is fighting with God, and the battlefield is the hearts of people” (XIV, 100).

**Keywords:** dialogue, religious-philosophical dialogue, genre of the novel, Dostoevsky, “*Demons*”, the question of faith

**For citation:** Gaponenkov A. A. Religious and philosophical dialogues in Dostoevsky’s novel *Demons*. *Speech Genres*, 2023, vol. 18, no. 2 (38), pp. 132–137 (in Russian). <https://doi.org/10.18500/2311-0740-2023-18-2-38-132-137>, EDN: RFLKOA

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0)

Недоосвещенность героев, ситуаций, коллизий в романах Достоевского – авторская устремленность, черта поэтики. Очень точно ее определил Ф. А. Степун, говоря, что писатель «как бы совлекает со своих героев их эмпирическую плоть, раздевает их до метафизической наготы» [2: 335]. В целом вокруг каждого персонажа философ видит «разную художественную плотность» в описании жилища, природы, окружающего социума. Мировоззрение романного героя реализуется посредством речевых диалогов, они становятся основной вербальной формой создания его образа, ведут от воспроизведения примет действия в речи к «образу идеи» [3:100].

Не все обмены репликами, развернутыми высказываниями являются религиозно-философскими диалогами. Классифицировать диалоги можно, но любая классификация их будет несовершенна и едва ли исчерпывающая. В чистом виде сделать это нельзя. Они разного типа и различаются по содержанию, имеют свою тему, ситуацию высказывания. Диалоги персонажей между собой как бы держат внутри всю конструкцию романа «Бесы», наряду с массовыми сценами, реально-бытовыми эпизодами. Религиозно-философские диалоги создают напряженное нравственно-философское, религиозное поле, многообразие образов идей романа.

Такого рода диалоги в «Бесах» разнообразны. Они определяют сюжетное движение, развитие авторской мысли. Диалоги предельно обостряют, драматизируют природу романного действия. Когда сталкиваются полярные точки зрения на мир, повествователь устраняется и возникает своеобразный сценизм. Достоевский в письме к кн. В. Д. Оболен-

скому писал: «Есть какая-то тайна искусства, по которой эпическая форма никогда не найдёт себе соответствия в драматической. <...> Другое дело, если Вы как можно более переделаете и измените роман, сохранив от него лишь один какой-нибудь эпизод, для переработки в драму, или, взяв первоначальную мысль, совершенно измените сюжет» (XXIX, I, 225).

Примерами экспозитивного диалога в романе «Бесы», вводящего читателя в круг идей и переживаний героев, служат диалоги Степана Трофимовича с Шатовым (X, 33–34) и Кирилловым (при участии Липутина) (X, 77–78). Эти краткие философские диалоги сразу нарушают плавное течение хроникерской описательности, обуславливая дальнейшее развитие заявленных идей. Читатель ждет их развертывания. Позиция Степана Трофимовича определена в первой же главе биографическим отступлением Хроникера. Предыстории Шатова и Кириллова едва намечены, практически отсутствуют. Шатов и Степан Трофимович скорее обмениваются развернутыми монологами, которые есть зачатки спора, его исходный пункт, первоначало. Требуется дальнейшей аргументации и история идеи Шатова – прелюдия других споров с ним.

Объяснения Кириллова провоцируются Липутиным и остаются недосказанными инженером, который раскрывает свою теорию подробнее в беседе с Хроникером (X, 91–95). И это – первый чисто философский диалог-интервью в романе. Хроникер задает направляющие беседу вопросы и ограничивается фиксацией оттенков чувств собеседника в процессе диалога: «очень нахмурился» (X, 92), «покраснел» (X, 92), «вдруг улыбнулся да-

вешнею детскою улыбкой» (X, 92), «заклучил он вдруг с удивительно экспансивностью» (X, 94)... Подобное не затмевает собой основное – фразеологическое выражение мыслей-чувств героя, рождающихся в глубине целеустремленной души: «Будет богом человек и переменится физически. <...> Меня бог всю жизнь мучил» (X, 94). Афористичность, строгая логизация мыслей, убежденность «помешанного» Кириллова придают его заимствованной и выстраданной философской доктрине рождение Человекобога стройную разумную обоснованность и невероятную боготорческую силу воздействия, вырастающую в своевольное дерзание духа.

В построении «Бесов» поражает необыкновенное художественно-логичное сцепление эпизодов. Достоевский как бы выдерживает принцип симметрии. Герои-идеологи Шатов и Кириллов, прежде чем происходит встреча между ними, параллельно сведены – каждый в отстаивании своей идеи – поочередно со Степаном Трофимовичем, Хроникером, Ставрогиним. Религиозно-философское содержание просматривается в отдельных фразах обычного событийного диалога, подталкивающего действие. Вкрапление философских абстракций и теорий здесь связано с неожиданным поворотом разговора в сторону прояснения философской позиции персонажа. Николай Всеволодович видит книгу Консидерана и спрашивает фурьериста Липутина, не французский ли перевод это: «<...> с какою-то даже злобой привскачил Липутин, – это со всемирно-человеческого языка будет перевод-с, а не с одного французского! С языка всемирно-человеческой социальной республики и гармонии, вот что-с! А не с французского одного!..» (X, 45). Шатов за рассуждениями о врагах «живой жизни» не замечает, как Марге «мучается родами». Проповедь Бога здесь сосуществует с реальным, приземленным разговором – встречей двух родных и разлученных долгое время людей (X, 441–443).

Совершенно необычны два диалога с участием Хромоножки. Первый из них с Шатовым (X, 114–118), вероятно, справедливо назвать поэтическим. Блаженные, пророческие слова слабоумной Марьи Тимофеевны – это поэтические откровения, «слезы радости», полубредовые «сны», зародившиеся в полубессознательном ее прозрении духовной сущности мира. Здесь нет динамизма мысли, может быть, самой мысли, но есть, по словам С. Булгакова, «нездешней музыкой обвеянная речь» [4:507]. Слова Марьи Тимофеевны художественно-философичны уже потому, что в высоком святом чувстве, идущем от материя земли, – символическое созвучие, гармония

истины, добра и красоты: ««А по-моему, говорю, бог и природа есть все одно» <...> одна наша старлица, на покаянии у нас жила за пророчество: «Богородица что есть, как мнишь?» – Великая мать, отвечаю, упование рода человеческого». – «Так, говорит, богородица – великая мать сыра-земля есть, и великая в том для человека заключается радость... И всякая тоска земная и всякая слеза земная – радость нам есть...»» (X, 116). Перед нами один из последовательных и развернутых монологов Хромоножки. Шатов выслушивает их «прилежно» (X, 117) и задает изредка удивленные вопросы. Он немногословен, задумчив, отказывается слишком настаивать, вопрошать, умолять. Его отношение к собеседнице выражено смиренной фразой: «Э, что мне до тебя, да и грех» (X, 118). Шатову близка народная православная, отфольклорная стихия ее бредовых переживаний. Она чувствует в нем друга доброго, искреннего. Диалог происходит под наблюдением Хроникера, который изредка уведомляет читателя о своем присутствии.

Другой диалог Хромоножки, уже со Ставрогиним (X, 215–219), длится без видимых свидетелей (изменилась повествовательная позиция). «Наяву» является законный супруг Марьи Тимофеевны – Николай Всеволодович и кто-то еще, *иной*, воображаемый ее собеседник. Хромоножка ведет разговор то ли с раздвоившимся Ставрогиним, то ли с ним одним, наряду с идеально представленным, возлюбленным Князем: «Только мой – ясный сокол и князь. А ты – сыч и купчишка!» (X, 219).

Что это – галлюцинация, сон, прозрение? Центральный образ данного диалога скрывается в чаю Хромоножкой словесимболе «князь», местоименным заместителях (*он, его, ним*). По-разному понимается среди достоевсковедов это воображаемое лицо – участник диалога. Трудно дать формулу для обозначения противочувствий Марьи Тимофеевны. Мы сталкиваемся с одной из загадок художественного мира Достоевского. Вяч. И. Иванов разрешил ее согласно христианской теодицеи: «Этот другой, светлый князь герой-богоносец, в лице которого ждет юродивая во Христе духовидица самого Князя Славы» [5:524]. Абсолютно противоположная позиция отстаивается Л. И. Сараскиной: «Марье Тимофеевне грезится князь гордый и своевольный» [6: 154].

Диалоги с участием Ставрогина многозначны, но не все они религиозно-философские. Ситуация их протекания таинственна. За одним первоначальным планом взаимоотношений героев проглядывает другой смысловой план. Предельно обостряют природу

действия, например, три диалога Петра Верховенского со Ставрогиным. В дьявольской доктрине беса «с даром бездарности» (X, 175) – Петра Степановича Верховенского, по мысли Н. А. Бердяева, «нельзя уже нащупать ничего онтологического» [7:92]. К каким только уловкам, перебивам диалога, уклонениям в сторону не прибегает он ради достижения заветной цели: вовлечения Ставрогина в свое «дело», его преобразования в Ивана-Царевича.

Гротескное в образе Ставрогина, тайнопись его пути в романе, «эманация этой необычайной личности» [8:124] в Шатове, Кириллове, П. Верховенском воплощают трагическое его абстрагирование от «почвы», соблазны *разумного* своеволия и вожделения, выразившиеся в трагико-философском экспериментировании с жизнью и над людьми. Загадка в самой личности Ставрогина. Есть что-то в человеке, что остается непознанным, хотя бы и «в авторской осознанности» – как говорил А. П. Скафтымов, «темная периферическая бахрома души» [9:83], потемки её.

Ставрогин не персонализирован в Шатове и Кириллове. Если и повторяют они дословно его мысли, живут ими, его образом и подобием, то остаются все же со своим темпераментом, со своей мистической, иррациональной глубиной. Человек не может быть разрушен до конца, переделан, потерян для человечества. Недаром так пронизательно обращает внимание Достоевский на малейшее изменение речевого тона, оттенков темперамента, первичных психологических реакций на воспринятую героями мысль.

Ставрогин заставляет героев-идееносителей поочередно в ненормальном морально-психологическом состоянии. Шатов бредит в «жару». Кириллов чем-то озабочен. Разговор Ставрогина и Кириллова о дуэльной истории постепенно подходит к основному предмету диалога – мысли Кириллова о своем самоубийстве ради установления «вечной жизни». Эта мысль подвергается проверке на истинность. Николай Всеволодович задает провоцирующие вопросы, заставляя собеседника объяснить, почему его любовь к жизни совместима со смертью. В своих ответах Кириллов приводит главные аргументы, что «смерти нет» и жизнь здешняя и вечная возможна, если «время остановится»: «Время не предмет, а идея. Погаснет в уме» (X, 188). Ставрогин выражает брезгливое сожаление: «Старые философские места, одни и те же с начала веков» (X, 188). Инженер парадоксально подхватывает последние слова в защиту своей теории: «Одни и те же! Одни и те же с начала веков, и никаких других никогда!» (X, 188). Он неистово отстаивает свою позицию.

Речевая сшибка становится повышенно экспрессивной, придавая диалогу динамичность и дополнительный импульс. Читателю незримо передается заряд душевного беспокойства героя.

Кириллов признается, что он счастлив, что ему открылся символ «живой жизни» – «зеленый, яркий с жилками» (X, 188) лист. Инженер заметил точное время обретения счастья: «Я часы остановил, было тридцать семь минут третьего» (X, 189) – и не получает ответа.

Теория ночного сидельца выглядит логически безупречной: «Кто научит, что все хорошо, тот мир закончит» (X, 189). Конечность мира философски сопрягается у Кириллова с всеобщим человеческим счастьем.

Героями обсуждается коренной вопрос – вопрос о вере. Кириллов утверждает «сверхчеловека».

– Он придет, и имя ему человекобог.

– Богочеловек?

– Человекобог, в этом разница (X, 189).

Далее в одной из реплик Николай Всеволодович пародирует *логику веры* – неверие оппонента в Бога: «Если бы вы узнали, что вы в бога веруете, то вы бы и веровали; но так как вы еще не знаете, что вы в бога веруете, то вы и не веруете» (X, 189). Последняя, завершающая отповедь Кириллова исчерпывает религиозно-философскую проблематику диалога и приоткрывает тайну особых, мистических отношений между двумя ночными собеседниками: «Это не то <...> перевернули мысль. Светская шутка. Помните, что вы значили в моей жизни, Ставрогин» (X, 189).

Самый впечатляющий по продолжительности, динамизму, накалу мыслей религиозно-философский диалог – свидание Шатова и Ставрогина, безусловно венец всех диалогов романа (X, 190–203). Как ни упомянуть здесь бердяевское определение – «шатовские соблазны» [7:91] Достоевского.

Диалог развивается «pro et contra», то с нарастающим ритмом полярного речевого взаимодействия, то со спадом речевой активности одной из сторон. Таинственная связь этих двух людей ненамного приоткрывается читателю в процессе диалога: всплывает частично прошлое Шатова, контакты его с тайной организацией, Петром Верховенским. Разговор заходит о браке Ставрогина с Марьей Тимофеевной. Николай Всеволодович предупреждает собеседника о нависшей над ним опасности убийства. Чисто сюжетная конкретика на этом исчерпывается.

Все внимание приковывают *перипетии* идей данного изнурительного диалога, проявления *горячего сердца*. Художественно-философское пространство в романе внезапно раздвигается до вселенского масштаба:

«Мы два существа и сошлись в беспредельности... в последний раз в мире» (X, 195). В центре диалога – «главная тема» – народ-богоносец, русский народ как «тело божие» (X, 199). И от божественного мессианского его служения миру все остальное в концепции Шатова.

Ставрогину его тезисы уже знакомы. Их отношения в прошлом – учителя и ученика. Ученик укоряет Николая Всеволодовича за отступничество от дорогих ему, Шатову, символов веры. В его сердце глубоко укоренено ощущение единства Бога и родины. Шатов бросает обвинение Ставрогину в духовном соvrращении Кириллова. Николай Всеволодович признается бывшему ученику в своем атеизме. В ответ он получает глубоко выношенное убеждение: «Атеист не может быть русским, атеист тотчас же перестает быть русским» (X, 197). И следом слышит в развитие предыдущей мысли: «Не православный не может быть русским» (X, 197). Ставрогин парирует: «Я полагаю, что это славянофильская мысль» (X, 197). Реплики Шатова увеличиваются в объеме. Он начинает больше слышать себя, разоблачает римский католицизм в связи с атеизмом. Ставрогин просит перестать повторять свои же прошлые мысли. Шатов настаивает неуклонно: «Но не вы ли говорили мне, что если бы математически доказали вам, что истина вне Христа, то вы бы согласились лучше остаться с Христом, нежели с истиной» (X, 198). Саркастическая усмешка Николая Всеволодовича сменяется вдруг взрывом негодования: «Молчите <...> Я глуп и неловок, но *погибай мое имя в смешном* (здесь и далее в цитатах курсив мой. – А. Г.)» (X, 198).

Образ Ставрогина нередко сопровождает дерзкий смех. Диалог течет далее по настоянию одного собеседника – Шатова. Он говорит о науке и разуме, социализме, религии, о добре и зле, деспотизме полунауки. Центральный тезис его неизменен: «Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца» (X, 198). Именно с этим положением не соглашается в первую очередь Ставрогин: «Уж одно то, что вы бога низводите до простого атрибута народности...» (X, 199). Последующая длинная тирада Шатова начинается эмоциональным всплеском: «Низвожу бога до атрибута народности? <...> Напротив, народ возношу до бога. Да и было ли когда-нибудь иначе? Народ – это тело божие» (X, 199). А завершается реплика прямым выпадом в адрес собеседника: «Какое мне дело до того, что вы не понимаете меня совершенно, совершенно, ни слова, ни звука!.. О, как я презираю ваш *гордый смех* и взгляд в эту минуту!» (X, 200). Ставрогин отчасти раздражает накаленную обстановку и сразу задает

вопрос о вере в Бога. Пригвожденный Шатов честно отвечает: «я... я буду веровать в бога» (X, 201). Он, верующий в народ-богоносец, по сути не верит в Бога. После столь откровенной фразы разрыв между репликами диалога заполняется портретной паузой молчаливого противоборства: «Ни один мускул не двинулся в лице Ставрогина. Шатов пламенно, с вызовом смотрел на него, точно сжечь хотел его своим взглядом» (X, 201).

Это – кульминационный отрезок словесного поединка. Далее что-то происходит в сознании и сердце Шатова. Сила пророчесственного пафоса его речи ослабевает, возрастают ноты обличения Николая Всеволодовича (сладострастное прошлое, страсть к мучительству). Ставрогин вдруг называет Шатова «психологом». Ученик одерживает в конце концов моральную победу в диалоге с учителем: «Я не могу вас вырвать из моего сердца, Николай Ставрогин!» (X, 202). Показательны в этом диалоге изменение тона речи и выражения лица Ставрогина. «Оставьте ваш *тон* и возьмите *человеческий*» (X, 201), – требует Шатов.

В главе «У Тихона», не вошедшей в основной текст романа «Бесы», Достоевский свел в диалоге-исповеди Ставрогина с отцом Тихоном. На вопрос «главного беса» о «сомнении» в вере Тихон отвечает о себе самом неожиданно для собеседника: «Не совершенно верую» (X, 10). Это значит «не в совершенстве», с чувством глубочайшего неравнодушия. Даже атеизм «почтеннее светского равнодушия», ближе всего подходит к «совершеннейшей вере».

Ставрогин же вызывающе «равнодушен», верует в беса «канонически» (X1, 10).

Подведем итог. Религиозно-философский диалог в романе «Бесы» очень напряженный, таинственный, мистический, обладает своеобразной духовной насыщенностью, интенсивностью протекания, темпа речевого взаимодействия. Вопрос о вере поднимается героями Достоевского в самые кульминационные отрезки словесных поединков. После того как произнесены слова о вере, сила звучания реплик персонажей ослабевает.

Во множестве религиозно-философских диалогов романов Достоевского перед нами знаковое событие – *исповедание веры*, вопрос о вере, заданный одним персонажем другому, собственно обмен словесными репликами (жестами, молчанием) подводит собеседников к ключевому моменту споров: «веруете ли вы, во что веруете»? Это и есть главный вопрос в религиозно-философском диалоге Достоевского. Карамазовы, Ставрогин, Шатов, Кириллов, Тихон, Мышкин, Макар Долгорукий, Раскольников, Соня, Мармеладов и другие персонажи характеризуются по их отношению к вере, неверию, своеволию.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л. : Наука. Ленинград. отд-ние, 1972–1991.
2. Степун Ф. А. Мирозерцание Достоевского // О Достоевском: Творчество Достоевского в русской мысли 1881–1931 годов. М. : Книга, 1990. С. 332–352.
3. Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М. : Советская Россия, 1979. 320 с.
4. Булгаков С. Н. Русская трагедия // Булгаков С. Н. Сочинения: в 2 т. М. : Наука, 1993. Т. 2. С. 499–526.
5. Иванов В. И. Собрание сочинений: в 4 т. Брюссель : Жизнь с Богом, 1987.
6. Сараскина Л. И. «Бесы»: роман-предупреждение. М. : Советский писатель, 1990. 480 с.
7. Бердяев Н. А. Духи русской революции // Бердяев Н. А. О русских классиках. М. : Высшая школа, 1993. С. 75–107.
8. Бердяев Н. А. Мирозерцание Достоевского // Бердяев Н. А. О русских классиках. М. : Высшая школа, 1993. С. 107–223.
9. Скафтымов А. П. Нравственные искания русских писателей. М. : Художественная литература, 1972. 543 с.

## REFERENCES

1. Dostoyevskiy F. M. *Polnoe sobranie sochinenii: v 30 t.* [Complete works: in 30 vols.]. Leningrad, Nauka Leningrad. otd-nie Publ., 1972–1991 (in Russian).

2. Stepun F. A. Dostoevsky's Worldview. In: *O Dostoyevskom: Tvorchestvo Dostoyevskogo v russkoy mysli 1881–1931 godov* [About Dostoevsky: Dostoevsky's Creativity in Russian Thought in 1881–1931]. Moscow, Kniga Publ., 1990, pp. 332–352 (in Russian).
3. Bakhtin M. M. *Problemy poetiki Dostoyevskogo* [Problems of Dostoevsky's Poetics]. Moscow, Sovetskaya Rossiya Publ., 1979. 320 p. (in Russian).
4. Bulgakov S. N. Russian tragedy. *Bulgakov S. N. Sochineniya: v 2 t.* [Works: in 2 vols.]. Moscow, Nauka Publ., 1993, vol. 2, pp. 499–526 (in Russian).
5. Ivanov V. I. *Sobranie sochinenii: v 4 t.* [Collected works: in 4 vols.]. Bryussel', Zhizn' s Bogom Publ., 1987. (in Russian).
6. Saraskina L. I. "Besy": roman-preduprezhdeniye ["Demons": A Novel-warning]. Moscow, Sovetskiy pisatel' Publ., 1990. 480 p. (in Russian).
7. Berdyayev N. A. Spirits of the Russian Revolution. *Berdyayev N. A. O russkikh klassikakh* [About Russian Classics]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1993, pp. 75–107 (in Russian).
8. Berdyayev N. A. Dostoevsky's Worldview. *Berdyayev N. A. O russkikh klassikakh* [About Russian Classics]. Moscow, Vysshaya shkola Publ., 1993, pp. 107–223 (in Russian).
9. Skaftymov A. P. *Nravstvennyye iskaniya russkikh pisateley* [Moral Quests of Russian Writers]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 1972. 543 p. (in Russian).

Поступила в редакцию 05.06.2022; одобрена после рецензирования 04.08.2022; принята к публикации 29.08.2022  
 The article was submitted 05.06.2022; approved after reviewing 04.08.2022; accepted for publication 29.08.2022